

ЗИНАИДА ГИППИУС

МАТЬ-МАЧЕХА

Зинаида Николаевна Гиппиус

Мать-мачеха

Аннотация

«Старенький учебный стол был завален книгами. Лампа горела тускло. Девятнадцатилетний Алексей Ингельштет казался утомленным и скучающим. У него было еще совсем детское лицо, очень белое, с чуть розовым налетом на щеках, нежное, как у девушки; волосы – льняные, мелкие, как пух, немного редкие – вились надо лбом. В синих глазах было всегда какое-то оживление и робость...»

Содержание

I	4
II	11
III	16
IV	26
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Зинаида Гиппиус

Мать-мачеха

I

Старенький учебный стол был завален книгами. Лампа горела тускло. Девятнадцатилетний Алексей Ингельштет казался утомленным и скучающим. У него было еще совсем детское лицо, очень белое, с чуть розовым налетом на щеках, нежное, как у девушки; волосы – льняные, мелкие, как пух, немного редкие – вились надо лбом. В синих глазах было всегда какое-то оживление и робость.

На железной кровати, в углу, лежал кто-то и спал.

– Вадим Петрович! – негромко окликнул Алексей. Спящий от первого звука вздрогнул и вскочил.

– А? а? Что вы сказали, Алешенька? – быстро зашептал он, поправляя на шее широкий черный шарф, в который был закутан, как в платок.

– Послушайте, Вадим Петрович, – сказал Алексей, – чего вы там спите? Мне до смерти скучно, я устал. Пойдемте-ка прогуляться.

Вадим Петрович замахал рукой, как будто Алексей предложил ему совсем невозможную вещь. Он медленно, на цыпочках, подошел к столу и сел рядом на кончик стула.

– Что вы, Алешенька, – гулять, а Елена Филипповна? – Ведь там – гости. Ведь она только потому и позволила уйти отсюда, что послезавтра латынь у вас.

Алексей вздохнул.

– Голова болит, – сказал он покорно.

Вадим Петрович сделал встревоженное лицо. Он имел вообще очень странный вид. Это был молодой человек, лет двадцати трех, не более. Волосы на голове, тщательно подвитые, лежали странными фестонами. Лицо с рыжеватыми усиками выражало не то глупость, не то женственность. Весь он как-то извивался и кривлялся, беспрестанно поправляя то волосы, то рукава рубашки, то закутывался в черный шарф, с которым никогда не расставался.

– Ах, Алешенька, – промолвил он, закатывая глаза, – пойдете, право, пойдете в гостиную. Голова болит, устали, а там – гости. Я сам устал, да вот теперь отдохнул у вас. А там я вам сыграю что-нибудь.

Алексей покорно встал, поправил парусиновую блузу с гимназическим поясом и проговорил:

– Да ведь Люба там, ведь эта Люба, Вадим Петрович...

– Знаю, знаю, она мне самому противна, – галка черная, ворона с березы! Ну да я ее от вас отведу...

И Вадим Петрович маленькими шажками, осторожно ступая на высоких каблуках, последовал с Алексеем в залу.

В зале, точно, сидели гости, но было невесело и тихо. В одном углу сам генерал Ингельштет, – уже седой, с добродуш-

ным выражением лица, – играл в карты. Партнеры его были тоже люди пожилые. На диване сидела мать, Елена Филипповна, с работой, окруженная несколькими дамами. Она работала беспокойно, торопливо; ее белые сухие пальцы нетерпеливо и зло перебирали вышивку, как будто бы она работала поневоле. Когда вошел Алексей, она быстро подняла вверх светлые ресницы и взглянула на него своими бледными глазами.

– Ты кончил? – спросила она.

Голос у нее был такой же бледный, как и глаза, точно равнодушная вода падала с крыши после долгого дождя.

– Садись. Вот Вадим Петрович нам сыграет что-нибудь.

– Ах, ах, уж я не знаю, – забормотал Вадим Петрович, однако приближаясь к роялю, – ну, уж я вам Листа сыграю.

Он открыл рояль и заиграл. И без его предупреждения можно бы знать, что он будет играть Листа. Вадиму Петровичу только один Лист и давался. За Листа ему покровительствовали все барыни губернского горда: доставляя ему уроки музыки, рекомендовали приезжим знаменитостям, грели и питали. Вадим Петрович был как бы их общим сыном. Он не знал и не имел никакой родни, нигде не учился, был полуграмотен. Его считали за ребенка и пророчили ему будущность.

Зато Вадим Петрович блистательно играл Листа: пальцы так и бегали по клавишам, то сыпались, как горох, и ужасающие пассажи были ему нипочем. Правда, Вадим Петрович

не мог сыграть даже самую простую сонату Бетховена; но зачем губернским дамам, покровительницам артистов, – сонаты Бетховена? Переложение Листа – для них вполне достаточно.

Алексей отошел к отворенному окну. Там была весенняя южная темнота. С улицы пахло пылью и цветущими каштанами. Близкие, большие звезды двигались на небе.

Алексею было неловко – ему все казалось, что мать следит за ним взглядом. Он отодвинулся дальше, так что его нельзя было видеть, и в ту же минуту к нему подошла смуглая девушка, которая до тех пор сидела поодаль, около рояля.

– Алеша, – произнесла она тихо.

Трели Вадима Петровича заглушали ее голос. Однако Алексей ее услышал.

– Послушайте, Алеша, – продолжала она, – вы не хотите больше приходить к нам, играть на скрипке?

– Мне теперь некогда, – проговорил Алексей, – экзамены...

– Нет, скажите, что вы не хотите, скажите просто. Ну что ж, мне это больно все, конечно, но мне другое еще больнее. Зачем вы Алеша, мать огорчаете?

Алеша вздрогнул, как будто на него брызнули холодной водой, и ничего не сказал.

Люба подождала немного и продолжала:

– Это ужасно, что вы мать огорчаете. Это для нее – смерть. Я вижу, как она мучается. И так она мучается каждым ва-

шим непослушанием, даже самым маленьким, а тут вдруг вы задумали такую вещь. Нет, это ее убьет. Двадцать лет не расставалась с единственным сыном, знает, какой вы несамостоятельный, как за вами нужно следить – и вдруг позволить поехать вам Бог знает куда на четыре года! Никогда она этого не позволит, да и не понимаю я, как вы можете так ее огорчать.

Алексей посмотрел на Любу с ненавистью. Она была некрасива, с хищным выражением в смуглом лице, очень маленьком, несмотря на полное тело. Серые глаза слегка косили, так что взгляд ее был всегда обращен не на того, с кем она говорила. Густые черные волосы были заплетены в одну косу. Когда-то Люба казалась Алексею довольно привлекательной. Может быть, ее необычайная любовь к нему трогала его: может быть, и то было причиной, что только одну Любу он видел у них в доме и только у одной Любы мог бывать; Елена Филипповна так хотела, и Алексей даже не размышлял никогда, должен он или не должен слушаться матери. Он писал Любе нежные письма, хотя она жила со своей матерью в двух шагах, даже поцеловал ее несколько раз, но на том дело и кончилось. Его охладило главным образом то, что как будто все было это известно матери, за всем она следила и позволяла. Даже больше: как будто это делалось с ее приказания. И тут в первый раз Алексею захотелось повернуть в другую сторону. Люба не хотела знать перемен, она все так же приходила к нему, так же звала его к себе и постоянно

говорила с ним о матери, и постепенно расположение Алексея переходило в ненависть.

– Оставьте, Люба, – сказал он с резкостью, – что вам до того? Я поступаю, как могу.

– Вы не любите меня больше, Алеша? – вдруг плаксиво протянула Люба. – Скажите, вы меня не любите?

Не было такой вещи, которую Алексей мог сказать с решительностью. Он хорошо знал, что терпеть не может Любу, а между тем физически не мог сказать ей это или показать слишком прямо. Он не знал, что отвечать ей теперь, и уже собирался сказать, что любит, когда она сама, не дождавшись ответа, продолжала:

– А я вас люблю, Алеша, я вас ужасно люблю. Я умру, если вы уедете в университет на четыре года. И ведь это каприз у вас, эти естественные науки, вы всегда хотели быть офицером...

– Когда же я хотел? – слабо попытался возразить Алексей.

– Ну все равно, Елена Филипповна хотела. А естественные науки – это Шмит вам вбил в голову.

– Не трогайте Шмита, он мой друг, – произнес Алексей, вставая. Ему было тяжело разговаривать с Любой, а она не понимала этого и с наивной бестактностью не хотела отпустить его. К счастью, Вадим Петрович кончил своего Листа. Его похвалили, попросили сыграть еще, но он не сыграл, а пошел к окну выручать своего друга. Но выручать не пришлось: Люба, завидев Грушевского, отошла опять к дивану

и села за креслом Елены Филипповны.

– Нет, я не могу, – шепнул Алексей Вадиму Петровичу, – я удеру гулять, мне душно. Пойдемте со мной, Вадим Петрович, как будто в комнату сначала, а оттуда можно – в окно.

– Да что вы? – проговорил Вадим Петрович с выражением полного ужаса на лице. – Подождите, будем на Белом Ключе, там другая воля, а в городе – страшно.

– Ничего, пойдемте...

И Алексей решительно пошел к двери. Вадим Петрович поплелся за ним, все с тем же выражением ужаса на лице.

II

Белый Ключ, где у Ингельштетов была собственная дача и где они жили каждое лето, было место невеселое и довольно неприятное. Там стояло в лагере несколько полков. Но и офицеры жили как-то скучно монотонно. Музыка играла редко. Парк зарос бурьяном. Дачники мало знакомились друг с другом и сходились разве только на почте, куда следовало самим отправляться получать письма два раза в неделю. Гулянья было довольно: дороги во всех направлениях, громадная сосновая роща на горе.

Но Алексей не любил Белого Ключа. Жизнь его нисколько не отличалась от городской: так же играл он на скрипке под аккомпанемент Любы, которая летом гостила у них совсем, – и так же, казалось ему, следили за ним бледные глаза матери.

Но в прежние года у Алексея была беззаботная покойность, какой-то полусон, он знал, что будет с ним осенью, и потом опять – летом, и знал, что это неизбежно. Теперешнее лето было беспокойное и мучительное. Он кончил гимназию, и перемены делались необходимы. Алексею не доставало его друга – Шмита. Шмит обещал приехать, но не раньше июля.

Вопрос о том, что же будет с Алексеем, – так и оставался пока не решенным, стоял на пути. Если бы не Шмит, может быть, этого вопроса и не существовало бы. Но Шмит дал

мысль Алексею, что он может устроить жизнь, как ему более нравится, и теперь Алексей держался за это, сам удивляясь, откуда у него берутся силы. Точно сговорившись, все первое время молчали об этом, но раз за завтраком отец произнес добродушно:

– Что ж, Алексей, пора уж думать, чтобы тебя записали.

Ведь ты в юнкерское?

Алексей, не поднимая глаз, проговорил:

– Нет, папа, ведь ты знаешь, я хочу в университет...

– Все еще в университет? – продолжал отец с искренним изумлением. – А я думал, у тебя это прошло. Как же ты пойдешь? Ведь мать не хочет.

Знакомое чувство – не то страха, не то отчаянья и обиды – облило Алешу с ног до головы, и он прошептал:

– Я на естественный...

– Вот видишь, на естественный, – с прежним добродушием начал отец, – и откуда у тебя эти фантазии? Какая тут будущность? Ведь это капризы, баночки да скляночки расставлять. Ну что там, мать не хочет, значит, и говорить нечего. Надо поскорее в юнкерское записываться.

Алеша хотел возразить, крикнуть, но слезы подступили ему к горлу. Он, сам не зная, что делает, вскочил из-за стола и убежал к себе.

Несколько времени он лежал на своей постели без мысли и только с желанием плакать. Вдруг вошла Люба.

– Алеша, – проговорила она тихо, останавливаясь на по-

роге, – идите, мама вас зовет к себе. Ай, ай, Алеша, что вы наделали!

В голосе ее был ужас и безнадежность. Алеше захотелось вскочить и спустить Любу с лестницы. И когда он встал, Любе, должно быть, не понравилось выражение его лица, потому что она быстро юркнула вон.

Комната матери была угловая, очень светлая, без мягкой мебели, которую Елена Филипповна не любила, только с одним плетеным креслом около рабочего столика.

В этом кресле она сидела, когда вошел Алексей.

– Вы меня звали, мама? – сказал он, глядя в сторону.

Он всегда в таких случаях смотрел в сторону, потому что еще с самого раннего детства ему внушал ужас и знакомое ожидание наказания вид бледного пробора на бледных волосах, открытые светлые глаза и руки с длинными пальцами, нетерпеливо рвущие работу.

– Да, я звала тебя, – беззвучно проговорила Елена Филипповна, – сядь, пожалуйста, нам надо поговорить.

– Мы ведь уж говорили, – с невыразимой тоской произнес Алексей, садясь по другую сторону рабочего стола.

– И еще поговорим, это не мешает. Я хочу, наконец, выяснить и кончить. Истории твои неуместны. Я знаю, откуда идут эти новости, но я тоже знаю, чего я хочу. Поехать на четыре года за тысячи верст, жить одному, изучать без цели то, что тебе не нужно, попасть в дурную компанию, перестать быть тем, что я из тебя сделала, – всего этого я не могу

допустить. Перед тобой военная карьера, которая не отрыва-ет тебя от дома. Через два года ты будешь уже настоящим человеком с известным положением. Этот путь я для тебя выбрала, и никаких возражений я не потерплю. Что же ты молчишь?

– Я ничего, – проговорил Алексей. – Ну что ж, пусть...

Но вдруг он с необыкновенной ясностью увидел всю нелепость своего положения. Почему он не идет в ту сторону, куда ему хочется? Ему двадцать лет, его жизнь принадлежит прежде всего ему, а он должен без всякой причины сделать ее противной, тоскливой, без всякой надежды на последний интерес, который у него был в душе. Ему вспомнились на-смешливые глаза друга, Шмита, и он, неожиданно для себя, проговорил:

– Я не желаю быть офицером, вы не можете мне запретить учиться...

В зеленых глазах Елены Филипповны блеснули насмешка и злоба.

– Чужими словами заговорил. Подумаешь, какая прыть. Я тебя лучше тебя самого знаю. Если будет нужно, милый друг, я тебя свяжу, с дороги ворочу; да не придется, сам нику да не поедешь. Теперь ступай, – прибавила она, вставая. – Бумаги твои будут отправлены куда следует. И смотри, помни наш разговор!

От ее темного платья отделялся, как всегда, раздражаю-щий и унылый запах – не то старинных трав, не то розовой

воды. Алексей с детства знал этот запах, и ненавидел, и боялся, и покорялся ему.

Теперь он встал и, не глядя на мать, вышел из комнаты.

III

Он прошел через всю дачу – на балкон, потом в сад и направился по дороге к роще. Он встретил Вадима Петровича, который бежал к ним, но, увидав бледное лицо Алексея с розовыми пятнами на щеках, понял, что была какая-то неприятность. Он повернул и пошел рядом с Алексеем, стараясь не расспрашивать его ни о чем и болтая разный вздор, чтобы развлечь его. Когда Алексей проходил мимо сада, он видел там Любу в ее голубом платье с белыми полосами, с книжкой. Она имела такой вид, будто чего-то ждала. Теперь Алексей смутно боялся, чтобы она не догнала их, и все прибавлял шагу. Вадим Петрович отлично понимал его.

– Бежим-ка, бежим-ка, – повторял он, семена ножками. – Чтобы эта галка черная нас не догнала!

Алексей всегда чувствовал нежность к Вадиму Петровичу, как к чему-то смешному и слабому, а Вадим Петрович искренно боготворил Алексея, и все мелкие камни, какие мог, старался удалять с его пути. Он даже не дерзал спорить с Еленой Филипповной, конечно, тоном капризного, балованного ребенка, и ему прощалось многое, что не простилось бы другим. Но у Вадима Петровича была тайная печаль: он ревновал Алексея к Шмиту, к тому самому Шмиту, который имел такое влияние на Алексея последний год. Но это чувство бедный Вадим Петрович скрывал.

Теперь он болтал без умолку. Алексей шел рядом молча. Они спустились в овраг, через который надо было пройти, чтобы попасть в рощу. Внизу шумела речка, не очень быстрая, как будто и не горная. Через нее был перекинут березовый мостик. Громадные сосны уже начинались за мостом – с красными стволами, с черными верхушками. День стоял не очень жаркий, но на солнце пекло, и лучи, падая кое-где на гладкие стволы, вызывали душистые смоляные слезы, крупные, как вишни. Каждая капля была совершенно прозрачна и тихо ползла вниз, но если дотронуться до нее пальцем, она вдруг мутнела, застывала и даже не благоухала так сильно.

В самой роще, где было почти темно, запах игл и смолы казался острым, – так он был силен. Около скользкой тропинки кое-где, под прорвавшимся лучом, горело зеленым светом яркое пятно мха. Странная тишина рощи смущала сердце. Не было ни птиц, ни кузнечиков, никакого шепота и гама лесного, только выше голых стволов, казалось, в самом небе, гудели, как далекое море, черные верхушки сосен.

Вадим Петрович выболтал все и на минуту замолк. Он собирался рассказать Алексею, как гувернантка Алферовых, m-lle Тумб и гувернантка Алпатовых m-lle Флей – обе хотят учить его по-французски и ссорятся, кому он достанется, а он не знает, какую выбрать, потому что m-lle Тумб мала и ужасно толста, так что он ее боится, а m-lle Флей довольно высока и еще толще m-lle Тумб, и он ее тоже боится.

Но эту богатую тему для соображений Вадиму Петрови-

чу не пришлось развить. Алексей устал от болтовни и собственного молчания. Он не слушал Вадима Петровича, а все время думал о себе и своем горе неумело и болезненно. Ему захотелось жаловаться кому-нибудь, – все равно; хоть Вадиму Петровичу рассказать, недоумевать, спрашивать, чтобы ему сочувствовали и успокаивали его. Оба присели на мох у тропинки, и жалобы Алеши полились. Он говорил бессвязно, повторяя одно и то же и беспрестанно упоминая Шмита и мать. Вадим Петрович покорно и внимательно слушал, хотя невольно, при слове «Шмит», глаза его делались похожими на глаза ребенка, который хочет заплакать. Звонкий, дерзкий хохот раздался совершенно неожиданно в нескольких шагах от них. За стволами никого не было видно. Алексей замолчал, оба прислушались. Смеялась, очевидно, женщина, другая ей возразила что-то по-немецки.

– Ах, Агнесса, – сказала громко и отчетливо та, которая смеялась, – как вы надоели! Это еще что, обижаться вздумали! Я не виновата, что у вас такие ноги, которых никто не мог бы видеть без смеха. Вы – Дон Кихот, Агнесса, вы – совершенный Дон Кихот. Я тоже читала где-то про Дон Кихота: «Ноги тощие, как палки»... Я и смеюсь над вами, как все, потому что я совершенно, как все. Разница только, что другие смеются, когда вы повернете спину, а я – глядя вам в глаза. Но ведь я же ваша воспитанница, а вы – моя гувернантка: это дает мне какие-нибудь привилегии, я надеюсь. Но вы мне надоели; спою-ка я песенку.

И говорившая запела, прекрасно произнося французские слова, даже с каким-то шиком и дерзостью:

Regarder par ici,
Regardez par là!¹

– Фуй, фуй, – расплевалась немка. – Калерия, я не могу позволять такие куплеты при мне запевать. Я знаю эта песня, я не могу позволять...

– Вас смущает, что по-французски? – засмеялась Калерия. – Ну я вам другую спою, русскую. Ах, если бы вы знали, как мама ее божественно поет! В Петербурге последний раз ей поднесли громадную корзину орхидей, только одних орхидей. Вот слушайте:

Немножко любви,
Верности чуть-чуть,
И побольше лукавства,
Вот в чем вся суть!

– Нет, я пошла домой, – проговорила Агнесса, очевидно полная сдержанного негодования. – Грибов нас набрал, а слушать такие песни я привыкать не могу.

– Ох, ох, ох, – неожиданно вздохнула Калерия, – ну пойдемте домой. Этакая скука здесь! И в чем справедливость? Из-за маминих дел сердечных я должна киснуть здесь вме-

¹ Посмотри сюда, Посмотри туда! (*фр.*).

сто того, чтобы в Баден-Бадене... уж, конечно, не собирать грибы, милая Агнессочка! Ну пойдёмте. Ах, да тут сидят!

Последние слова относились к Вадиму Петровичу и Алексею, которых говорившая увидела, спустившись на дорожку. Это была девушка небольшого роста, очень молоденькая, лет пятнадцати, в темно-красном фланелевом платье, с легким белым шарфом на голове, концы которого спускались до подола. Гувернантка ее, Агнесса, неимоверно высокая, — она даже перед соснами не теряла — худая, как жердь, с маленьким растерянным, старым лицом, на котором розовела пуговка носа и очень добрые милые глаза, остановилась от неожиданности. Калерия тоже стояла и смотрела на сидевших.

— Гимназист! — протянула она спокойно, не без любопытства вглядываясь в лицо Алексея. — А другой — художник заштатный, должно быть, только млад и зелен очень.

Алексей и Вадим Петрович чувствовали себя крайне неловко от такого бесцеремонного рассматривания и суждения вслух, особенно потому, что девушка была прехорошенькая: белая, как молоко, с темно-коричневыми волосами, которые падали ей до бровей легкими завитками. Карие глаза смотрели весело и дерзко. На подбородке была глубокая ямочка.

Вадим Петрович нашелся первый. Алексей еще стоял у стола в нерешительной позе. Вадим Петрович приблизился к девушке и произнес, чуть-чуть картавя, как дети, которые

ХОТЯТ БЫТЬ МИЛЫМИ:

– А я вас знаю: вы – мадам Загуляевой-Задонской дочка!

– Ну что ж тут удивительного, что знаете, – проговорила девушка, поднимая брови, – мама достаточно известна. А меня заметить и запомнить нетрудно. Правда, мы только три дня здесь, и я удивляюсь, где вы могли нас видеть.

– А я вас и не видал, я не видал, – торжествующе сказал Вадим Петрович. – Я догадался по вашим словам. Я раньше слышал, что тут артистка одна приехала с дочкой, ну а по разговору вашему и догадался. А я – пианист, Грушевский; очень люблю пение; я даже хотел с вашей мамашей знакомиться.

– Вы – пианист, – спросила девушка с некоторым удивлением, – вот я не думала. Но это интересно, познакомимся. А этот кто же? – прибавила она, кивая в сторону Алексея.

– А это друг мой, Алеша Ингельштет, – суетливо проговорил Вадим Петрович.

– Ну пускай будет Алеша, – решила девушка. – А вот Агнесса Ивановна, моя гувернантка. Таким образом, мы все познакомились и можем гулять вместе. Пойдемте, доведите нас до дому. К нам раньше вечера нельзя: теперь у мамы граф Криницкий сидит.

– Фуй, Калерия, но граф не помешал, и если молодые люди...

– Ах, уж я не знаю, помешал или нет, – нетерпеливо вскрикнула Калерия. – Ну, пойдемте, Алеша, дайте мне ру-

ку, а вы, пианист, ведите Агнессу Ивановну. Она вам может сказать немецкие стихи дорогой. Да берегите ее, чтобы она ногами за куст не зацепилась, она за все кусты цепляется.

Калерия развязно взяла под руку Алешу, и они чуть не побежали по скользкой тропинке. Алеша молчал и смущался. Розовая кровь стояла пятнами под тонкой кожей на его щеках. Он не привык ни к такому бесцеремонному обращению, ни к такой веселой и дерзкой живости, какая была в характере Калерии. Хорошенькая девушка казалась ему неестественной, даже неприличной, и он с ужасом спрашивал себя, куда он идет: к какой-то актрисе, к которой даже и войти нельзя, потому что у нее граф Криницкий. И, думая о графе, он неожиданно спросил:

– Это тот самый граф Криницкий, который имение «Аурек» купил, богатое имение, недалеко от сюда?

Калерия поглядела на него сбоку.

– Да, тот самый, – протяжно сказала она. – И пришла же ему фантазия тащиться сюда... Эх, если б Баден-Баден! – прибавила она со вздохом.

– Я знаю графа Криницкого! – вскричал Вадим Петрович, – и он меня знает. Его тоже Вадим зовут.

Калерия сдвинула брови.

– Ну и прекрасно, что знаете, у нас часто встречаться будете. Алеша, послушайте, вы гимназист?

– Нет, я кончил.

– Я тоже кончила гимназию и теперь вот с Агнессой; а вы

что же, в университет?

Алеша вздрогнул. Этот вопрос ему сразу напомнил его печали и муки.

– Я не знаю...

– Куда же вы, в полотеры? Ведь нельзя же останавливаться на гимназии.

И она засмеялась.

– Я, может быть... военным буду.

– Не советую, не советую, – деловито сказала Калерия. – Я много на своем веку офицеров видала; это жалкий народ. Впрочем, мы еще поговорим. Я вижу, вы не бойкий, но вы мне нравитесь; в вас что-то милое есть. Хотите, будем друзьями? Но для этого вы должны мне все, все рассказать, с самого начала до конца. А мне очень нужен друг; у меня была подруга Вера, но мы не переписываемся теперь. А, например, Агнесса для друзей не годится. Ох, как скучно! – вздохнула она вдруг, серьезно и печально взглянув на Алексея.

Она все больше и больше нравилась ему, хотя он был далек от мысли, что это именно так. Позади – Вадим Петрович разливался перед Агнессой. Немка сдержанно и довольно хихикала. Они спустились в овраг, потом поднялись на другую сторону его и повернули в улицу, где были самые большие дачи.

Алексей разговорился... Калерия тоже болтала, и они действительно чувствовали себя друзьями. Алексей опять забыл и о матери, и о том, что мучило его.

– А вон и наша дача, – произнесла Калерия, указывая на старый большой дом, чуть видный из-за густого сада. – Хороша дача, старый сарай какой-то! Да лучше не было, – взяли, какую нашли.

И они повернули в аллею, которая вела к даче.

– Батюшки, вон и мама идет, и граф с ней! Куда это они собрались?

Действительно, по аллее шла дама, небольшого роста, довольно полная, а рядом с ней – высокий худой господин с громадными седыми усами на неприятном лице.

– Мама, – заговорила Калерия, приблизившись к даме, – вот молодые люди хотят с тобой познакомиться: это – Алеша Ингельштет, студент, а вон тот – Грушевский, пианист и певец.

– Здравствуйте, – лениво проговорил граф, подавая руку Грушевскому, – мы, кажется, знакомы.

Артистка Загуляева-Задонская была вылитый портрет своей дочери, если только пятнадцатилетняя тоненькая девочка может походить на даму зрелую, дебелую, с яркими губами и черными ресницами. Пожалуй, мать была красивее дочери, но Алексею она показалась неприятной и странной.

– Милости просим, – произнесла она нараспев, – заходите к нам, господа. Теперь мы идем с графом в клубную библиотеку, но вечерком – пожалуйста. Вы, мосье, не откажете нам в удовольствии послушать вас? – прибавила она, обращаясь к Вадиму Петровичу.

Затем она кивнула головой и поплыла мимо.

– Так слышали, господа, вечером, – звонко проговорила Калерия. – Сегодня вечером и приходите.

– Я не знаю, – пробормотал Алеша, вдруг вспомнив лицо Елены Филипповны, – как удастся...

– Это еще что за вздор? – нахмутив брови, проговорила Калерия. – Как же вы можете быть другом, если даже не хотите прийти? Я и знать ничего не желаю. И чтоб к восьми часам вы непременно были тут! Мы целый концерт устроим.

Вадим Петрович пожимал руку немке, которая делала ему сладкие глаза.

– Ну, идемте, Агнесса, довольно! До вечера, господа! Да будет вам, Агнессочка, присесть перед Вадимом Петровичем, ведь увидите вечером.

И Калерия побежала к дому. Длинные концы ее вдали развевались, и Алексей машинально следил ним глазами.

IV

Елена Филипповна была дочь богатого помещика харьковской губернии. Мать ее умерла рано, и первые туманные воспоминания были странны. Она видела себя в высоких комнатах, окруженную няньками и девками, или в оранжерее, сидящую высоко на плече отца, который прохаживался взад и вперед. Ей вспоминался крик отца, бранящего кого-то, крыльцо, стаи собак, люди верхами и звук рогов. Она слышала иногда ночью вскрикивания и пение отцовских гостей, и, когда она спрашивала, что это такое, испуганная нянька шепотом отвечала ей, «у папеньки пир». Потом все изменилось. Раз отец позвал ее в оранжерею, посадил рядом с собой и говорил что-то долго. Она ничего не поняла и следила за движением его губ и седых усов, пожелтевших от табаку. Ей было тогда лет шесть.

После этого разговора Леночку посадили в экипаж и увезли. Ехал с ней сам отец, но она видела его только на станциях, потому что сидела с няньками в другой карете.

Подрастающая Леночка мешала отцу, и он решил отвезти ее за границу и поместить в монастырь в окрестностях Парижа. В монастырь св. Себастьяна или, как он назывался иначе, «Les Dames Bleues»² принимали со строгим выбором, и надо

² «Голубые дамы» (фр.)

удивляться, как Леночка попала в число счастливых. Отец уехал, и долгие годы о нем ничего не было слышно. Из пухлого ребенка Елена Филипповна успела превратиться в худую, даже костлявую, четырнадцатилетнюю девочку. Она ходила, наклонившись немного вперед, с плотно сжатыми губами, беспокойные, бледные глаза были опущены, и в них мелькало иногда что-то недоброе. Подруги чуждались ее, хотя она осыпала их ласками, старалась быть веселой и привлекательной с ними. Но в ее ласковости чувствовалось стремление к какой-то цели, и у всякого к ней было невольное недоверие. Училась она хорошо, быстро кончила курс и осталась на правах старшей. Ей минуло тогда семнадцать лет, и с этого года у нее началось увлечение католичеством. Она окончательно удалилась от воспитанниц, выпросила позволение одеваться так же, как сестры: длинное голубое платье с белым поясом и белым чепцом, на руки надела четки и простаивала ночи на молитве в своей комнате на белом полу. Ее молитвы не были смиренны: она всегда требовала чего-то от Бога с ожесточением, с силой и неистовством, сама не понимая – чего и зная, что не удовлетворялась бы никакой долей. Впрочем, она решила остаться на всю жизнь в монастыре. Она хотела власти над сестрами и настоятельницей, но у нее не было способности к интриге тонкой, обдуманной и терпеливой: она вся была один порыв, злая, иногда резкая, безумно упрямая. Ее боялись, ненавидели и избегали. Замечая это, она выходила из себя, запиралась и рыдала по ночам, забывая даже

молиться. Она хотела формально перейти в католичество и постричься, но не могла этого сделать без разрешения отца. Ей казалось, что, как только она сломает свою жизнь и навсегда запрет себя за этими стенами, то сразу перестанет желать необъяснимого и успокоится. Решение ее было твердо, и она, действительно, сделалась немного спокойнее, сосредоточившись на исполнении строгих уставов. Она находила отраду во власти над собой, но часто эта власть изменяла ей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.